

УЖ ЛУЧШЕ БЫ УБИЛИ...

*Вина отца и не вина,
что он в живых остался,
Что был он страшен
как война,
когда он надвигался.
Что был изранен на изруб,
что чуб из белой пыли.
Роняла мама камни с губ:
— Уж лучше бы убили!*

Месяц под знаком Победы — мой месяц. По свидетельству отца: нашёл меня на войне, вёз в котомке. Поэтому — Томка. По версии мамы: отца фашисты подменили на своего. Тот не пил, не курил. Этот — родных не признаёт. А ту, которую вытренькивал: «двадцать пятого числа — жёнка дочку принесла?» — категорически... Двадцать пятого ноября и разрешилась... «Пророк» за неделю до того на фронт и хоть бы слово какое. Только карты и

говорили: жив! Два раза за войну маму увозила скорая лошадь: голodный обморок. Дети — как заговорённые: привидившаяся Богородица с караваями спасала...

Отец с войны привёз войну: занимал круговую оборону, поднимал погибший взвод, материл какого-то Петьку, чтоб оторванную башку свою из окопа — ни-ни! Шёл в атаку с кочергой, с топором. «Враг» — врассыпную: переживал в морозных сенцах. Меня, новорождённую, согревали дыханием. А как неслись за квартал к тётъ Шуре, и сама помню. На войне, как на войне: перед дислокацией — разведка. Тётъ Шурин дембель Толя косою тоже повоёвывал. И когда сверкал невыбитым глазом, его семейство летело к нам с обратным визитом. Ритку, мою сверстницу, укладывали на голые доски: во сне писалась... Во сне душа — осиноый лист: дрожит и прячется. Я знаю.

...Время передёрнуло затвор: телерепортаж из Донецка заглянул в больничку для «тронувшихся» деток. Один мальчик всё улыбался, открывал-прикрывал глаза ладонью. Каким взрывом, куда отнесло его душеньку? Может, во младенчество, где живы мама-папа: счастливые, играют с ним в прятки навеки... — Ау! Одно время окликает другое.

Тётъ Шура не могла излечить дочь. А ведь была ведьмой. Угляделось с палатей: «циклопа» одноглазого выцарапывала из печной трубы тайным словом.

Провалившийся к какой-то «чехне», тот возвращался. Но ненадолго.

На войну с нашей Набережной ушли двадцать три, вернулись трое. Третьего, Толью Хромового, ребянтя величала Толь Ваньчем. По пути с работы раздавал безотцовщине гостинцы: по орешку, по конфетке. Гладил по вихрам: жмурились, как котята. Провожали до калитки. Смотрели в щели полисада. По сведенью мальчишек, рана у Толь Ваньча — сквозная. Белые бинты на верёвке колыхались. Колыхали наши сердечки.

Сестра, напрочь отвергнутая отцом, допытывалась у матери:

— Ты молодая была?

— Была.

— Папку любила?

— Любила.

— Он был хороший?

— Хороший.

— А лучше не было?

Она бы на месте мамы женилась на Толь Ваньче...

— Война, всё война... — вздыхала мама. Рассказывала, какие песни пел отец до войны, каким стахановцем был — с Доски почёта не снимали. Может, ещё вернётся душа-то? С тех пор как не отступила пред отцовым глюком, шагнула под топор: «Лучше б убили, лучше бы тебя там, Мишенька, убили!» — отец тут же утих. Те секунды остались зарубкой на память: как в замедленной съёмке, тесак плашмя опустился на отцову ладонь. Шишковатый палец провёл по

лезвию: — Топор-от плотницкий... Уважал он рабочий инструмент.

Но всё одно: не отпустила война человека: все ему были чужими в доме, и он оставался чужим. Меня, случалось, сажал на плечо. Затылок в рубцах вселял ужас. Высота — превосходство: возвысил тот, кого все боятся. Кого я боюсь... Может, любил? Подросла — не разрешал брать коромысло: — Пусть вон те кобылы идут! Теперь и в его отсутствие на предложение сестёр сходить за водой я могла ответить: — Вы кобылы, вы и идите!

— Всё война... — уж как-то подозрительно часто и отстранённо повторяла мама. — Всё война... Никто не знал, что носит в себе болель, которая сильнее войны.

В доме, от нашего наискосок, бои шли не на жизнь: выплёскивались на крыльцо. Большая снежная баба с красивым лицом, в кружевном белье, охаживала валенком мужа Ореста: «немец, немец!» Тот капитулируя, поднимал руки... Повесился. «Эмка» с квадратной головой из фанеры тосковала: в её кузове Орест катал детвору, как Мазай зайцев. Сгружал у Вшивой горы. Мне хотелось к Медной, к её волшебной хозяйке... Уральские сказки, ещё не отёсанные Бажовым, ходили по посёлку пешком... Чудные края... После напишется:

*Века високосные сосны
смыкают.*

*Черны: не поднять
патриаршие веки.*

*Опасные просеки пере —
секают
С Чердынского тракта
бежавшие зеки.
Бессрочные сыски,
урочные лета
За теми болотами воздух
кольшат.
С проточными списками
тех, кого нету,
Подземные гrotы для
роздыха вышли.*

Вид из окна: демидовский завод, на речной окраине — алмазная драга, на лесной — золотые прииски. В огороде — клад: петухом видится. Как Али-Баба богат посёлок. За хлебом — очередь... Когда давали муку — кило на голову, всё сонное поголовье — мороз-не мороз — снималось с печи. Засахаренный поручень крыльца однажды поймал меня за язык. Магазинная техничка отливала водой мою любовь к прекрасному... На миру не плачут. Взыл гудок. Трижды: значит, мороз — за сорок: в школу не идти. А я и не училась ещё...

Матушка печка — родовое, не отделимое: и ясли, и детсад. Каждый кирпичик знал репертуар пионерского хора. Нехорошим частушкам меня научили зятя Вилена и Дима. Зятя — итог роковой встречи двух лесоповалов: гражданского и З.К. На западно-казахстанской целине Вилена найдёт боевой орден. Кто ж знал?

...Боевые хлопоты зятьёв: обещанный сюрприз обернулся ведёрным чугуном на костре. Аромат свёл с ума всю улицу: пельмени! Не праздник, а Праздник! Патефон являл голос Утёсова. И всё бы хорошо, но вдова Ореста Чеботаева три дня искала упитанного пуделя.

И уж, верно, не из-за страшных подозрений напала на меня сыпная корь: сознание уносило по широкой трубе и — стоп! Ни хвори, ни кори. — Чудо! — говорила мама — Господь в маковку поцеловал! Я уж отпевать думала.

Но впереди была жизнь. И столько чудес, что Господь не всегда успевал целовать без войны виноватую...

Судьбу предсказала тётка Шура. Ладонь — контурная карта. Впадины из-под лба как изпод яра вперились, считывали жизнь.

«Здесь жить не будешь. Уедешь в город, не большой-не маленький. Муж — полувоенной дисциплины. Детей двое: не скажу, кто вперёд». Огорчила: «Богатой не будешь». Успокоила: «На жизнь хватит. Люди к тебе будут относиться с уважением». К чёрточкам у запястья наклонилась: «Не прорезались ещё... кажетяся, второй муж будет».

— Хоть бы был, хоть бы был! — ну, как не порадоваться второму? Тётка Шура засмеялась: «Забудь до поры!»

...Забывла надолго про гадаенье, и про этот день моего тридцатилетия.

Лет через двадцать «из не-большого-немаленького» Уральска приехала с дочкой, сыном в родные края к брату. Муж «полувоенной дисциплины» при фуражке с кокардой бороздил фарватер Урала.

...Тётка Шурина вдовец, признанный мною у калитки кладбища, рассказал об отце: «жил отшельником. «Сожителка» навещала лишь в святой день пенсии. Зашёл раз на победный праздник к нему. Усы и борода его сплелись. Выстриг ход для рюмашки. И хоть тараканом закуси, ни крошки... Король Лир: детей шестёрка — нейдут, не едут. Бывало, висит на изгороди, как ватник: ждал мот, кого... Кого, не сказал. Я ему — про внуков, он мне — про окопы, про Петьку какого-то...» Заросшая могила подсказала: брат не простил отцу «счастливого» детства.

В девяностые не стреляли, но народ пережил их как войну.

*Воробушков сито,
И вы голодны?
Лишь вороны сыты
В несытые дни...*

Безработный период привёл меня, позднюю, в журналистику: осваивала новую профессию, как целину.

В работе над очерками о вернувшихся с войны помогал

невернувшийся: тот, кто был для меня страхом, стыдом, никем. После — разрывной болью, брошенным младенцем. Теперь скажу: мой отец вынес из огня державу, душу не смог. Но эта невидимая субстанция вселенной должна быть: её ищет самое трудное, самое пресветлое на земле слово: «прости».

СЕРДЦЕ В КАПУСТУ

*...По улице шагает
весёлое звено.
Никто его не знает,
куда идёт оно.*

Звено из шестого знает, куда: меня, тупую из третьего «Б», ставить на вид отцу. «Отец за дочь не отвечает!» Кричи-не кричи, шеф-наставники в политике ни бум-бум. При попытке к бегству — портфелем по башке... «Повесть о Зое и Шуре» обязывает встать с колен. Встаю.

— Тупая, тупая! — ликует пионерская рать. Так вели партизан к эшафоту. «Это счастье умереть за свой народ». К счастью не готова. Патриотическую повесть сменяет малость познакомившийся со мной Гомер: «Чрево пополнив своё человеческим мясом...» И где он будет, этот пончик — звеньевой? С любого волнения мой контуженый отец готов превратиться в Полифема. Я убегу! Плен уже не мечется, весел: галера найдётся!

Посёлок с горы-нагору. «Вшивая» счёсывает со своей макушки меня и меня сопровождающих лиц. Гора Пихтовая дышит пихтой. У подножия — домной: ночные плавки сносят марсианским светом дома. Не снесут: дома на сваях. И сама гора, если смотреть на неё вон с той скалы, замок Иф. Проходным мостком к улице — бровка. Ход гуськом: слева гудящий тракт, справа скат. Зимой с него съезжают самые отчаянные портфели. Мой дёрнул на первую наледь. «Безумству храбрых поём мы славу!» Дикий каток необъезженным меринном взвился, понёс! «Безумство храбрых — вот мудрость жизни!» Где-то, на валу не «экипаж» раздвоился: портфель влетел в промзону первым. Героически умер на шпалах: ни уголков, ни замочков. Содержимое — на сбоях крутого пике. Проскочил паровоз — пришвартовало меня. А может, не меня: существо, свергнувшееся с многометровой кручи, и без отцового ремня пылало, выплясывало перед верхотурой: «труссы, трусы!» Голос осип: возле губ кувырчался... Все дороги, даже которые в Рим, — через Пихтовку! На нерве, на срыве — за вагонеткой солнце, вывело тупую третьего «Б» из железнодорожного тупика. У крыльца — хлопнулось: весёлое звено выскочило из-за поленницы!..

Не то утро, не то вечер. Медвежий — во всю избу — сумрак.

Печка. Лежу голенькая, как Иисусик. Голова пластмассовой штамповки, на живульку пришита к туловищу. По мне, верно, пронёсся шестой класс, а может, паровоз...

— Кулёмушка, — прикладывает мама к ушибам капустные листья: — боль сымут...

— Всю? — спрашивает из меня кто-то.

— Всю. А штанцам каюк.

Трусики достойны глубокой скорби: голубые, с начёсом — в

лоскуты... Из-за печки сумрак — шестой класс!

— Ой мамочки! — вскакиваю и опять, хоть в пропасть!

— Испуг, — плачет мама, брызжет святой водой через лучинку. Хорошо-то как!

— Ма, теперь я святая?

— А то... — тает сумрак, тает кочан.

— Ма, оставь листик.

— Зачем?

— Заверни в него моё сердце.